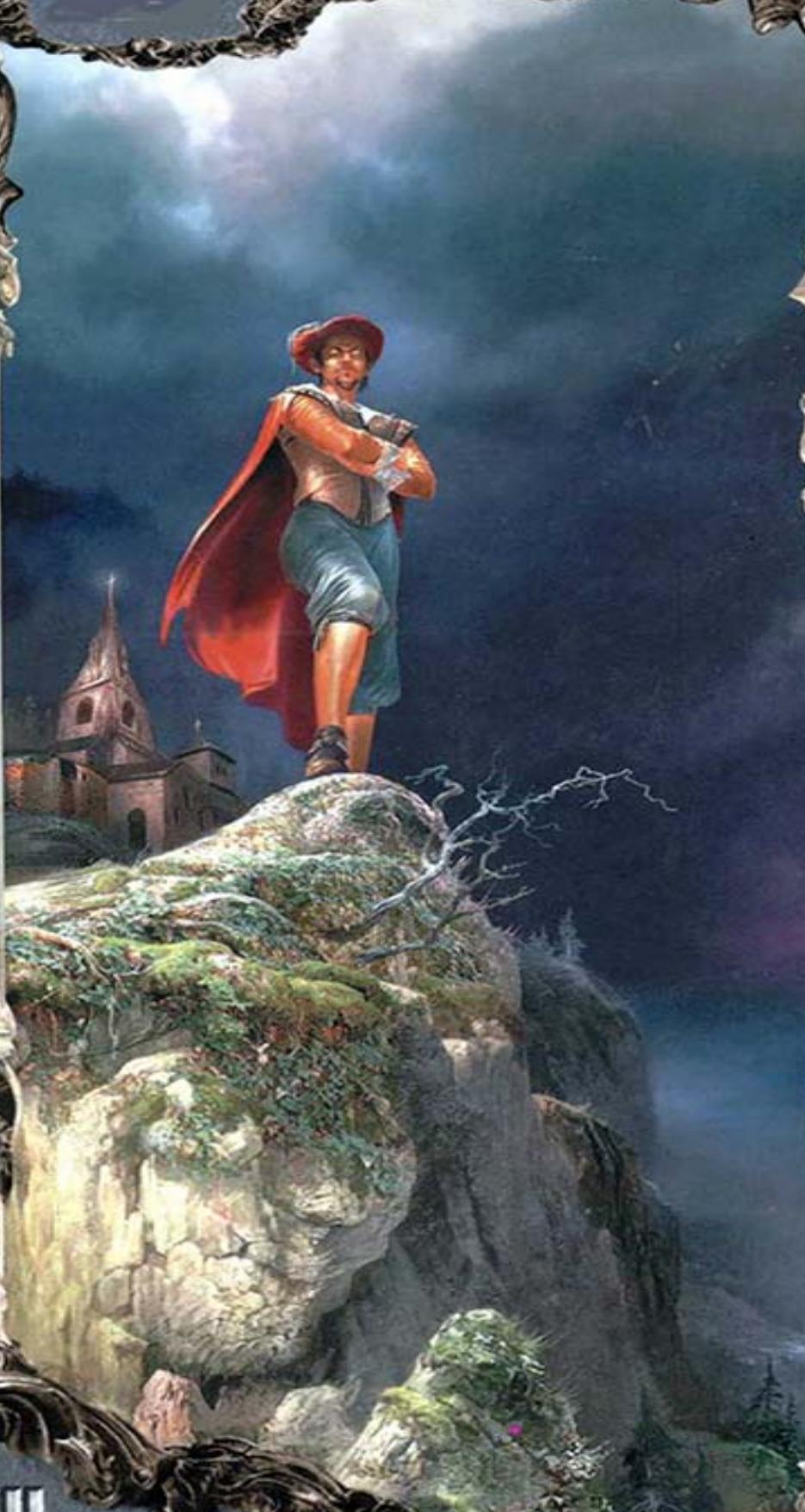




АНИМАЦИЯ
АНИМАТОР



Пасынки
восьмой заповеди

Генри Лайон Олди

**ПАСЫНКИ ВОСЬМОЙ
ЗАПОВЕДИ**

Странным даром обладают приемные дети Самуила-бацы из глухого села в Нижних Татрах: люди как люди, а есть у них способности, коими человек обладать не должен. Воры они, но не кошельки у зевак срезают, а крадут тайные помыслы, чаяния, навыки и знания. Неплохо устроились в жизни «пасынки восьмой заповеди»: Ян — аббат в тынецком монастыре бенедиктинцев, и скоро быть ему епископом; Тереза — жена богатого купца; пан Михал — воевода в графском замке, такие шляхтичи в бурный XVII век нарасхват. А вот с младшенькой, с Мартой, не заладилось...

Ярко и сочно воссоздавая образ Старой Польши в традициях Сенкевича и Тетмайера, авторы разворачивают мистическое действие на фоне тщательно выписанных исторических реалий. Авантурный сюжет сочетается в романе с глубокими размышлениями о природе веры — и о том, каждому ли доступно спасение души. А вдруг свою проклятую душу захочет спасти уставший от искушений дьявол?..

Оглавление

Генри Лайон Олди ПАСЫНКИ ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ КНИГА ПЕРВАЯ ДЕТИ ВОРА САМУИЛА

1

2

3

ВЕЛИКИЙ ЗДРАЙЦА

КНИГА ВТОРАЯ ТУМАНЫ СТАРОГО ПОГОСТА

4

5

6

ВЕЛИКИЙ ЗДРАЙЦА

КНИГА ТРЕТЬЯ ЕРЕСЬ КАТАРОВ

7

8

ЭПИЛОГ

То было что-то выше нас,
то было выше всех.

И. Бродский

КНИГА ПЕРВАЯ
ДЕТИ ВОРА САМУИЛА

1

— Пся крев!^[1] Где черти носят этого пройдоху-корчмаря! Клянусь епископским благословением, ещё мгновенье — и я нашинкую весь его проклятый род на свиные колбасы!

Пудовый кулак обрушился на столешницу, заставив кружки испуганно дребезжать, а ближайшее блюдо крутанулось волчком и нескоро остановилось, обратив к крикуну испуганную морду запечённого в черносливе поросёнка.

Корчмарь Иошка уже спешил к столу, смешно семеня коротенькими кривыми ножками и защитным жестом выставив перед грудью обе руки. В каждой был зажат глиняный кувшин с выдержаным венгерским вином, только что нацеженным из бочки, кран которой открывался либо по большим праздникам, либо в день посещения корчмы князем^[2] Лентовским, чей сволочной характер был отлично известен не только корчмарю, но и всякому встречному-поперечному по эту сторону Татр.

После первого княжеского глотка корчмарь был прошён, после второго — милостиво одарён дружеским подзатыльником, чуть не отправившим тщедушного Иошку на тот свет, а после третьего, самого продолжительного глотка, сопровождавшегося молодецким кряканьем и здоровой отрыжкой, князь Лентовский напрочь забыл о корчмаре и принялся превращать поросёнка в груду костей и обглоданных хрящей.

Сидевший рядом с князем его старший сын и наследник Янош Лентовский равнодушно вертел в руках куриную ножку, изредка касаясь её губами столь нежно и мимолётно, словно это была ножка его возлюбленной, а не окорок жилистой и вредной

пеструшки Друцы, чьё поведение переполнило сегодня утром чашу терпения жены корчмаря.

Впрочем, аппетит был единственным, что отличало между собой отца и сына Лентовских. Оба — рослые, топором рубленные здоровяки, краснощёкие, крепкорукие, зачатые на знаменитой дубовой кровати в родовом замке близ Череможа, где теряли невинность все новобрачные жёны Лентовских вот уже восемнадцатое поколение подряд. Оба наряжены в тёмно-лиловые бархатные кунтуши с бриллиантовыми пуговицами, каждая из которых стоила всего добра, нажитого тем же Иошкой за всю его корчмарскую жизнь; из-под кунтушей выглядывали жупаны голубого атласа, а на мускулистых ногах высокородных вельмож красовались пунцовые шаровары и вызывающие яркие сапоги из крашеного сафьяна на позолоченных каблуках. Больно было смотреть, как старый Лентовский заливает всё это великолепие потоками жира и струящегося по бритому подбородку вина — но вряд ли кто-нибудь осмелился хотя бы намёком дать понять князю, что жаль портить этакое добро! Доброхота ожидала в лучшем случае оплеуха, способная свалить быка-двулетку, а потом — плети княжеских гайдуков; невезучий же вполне мог попробовать и клинка фамильной сабли Лентовских, гордо выставившей над столешницей белый хохолок цапли, украшавший её рукоять.

— Музыку! Гей, слепой, заснул, что ли?!

Незрячий скрипач, перетирающий в углу беззубыми дёснами свежевыпеченный хлебец, поспешно вскочил, подхватил лежащую рядом скрипку, примостил её на костлявом старческом плече и взмахнул смычком. Плясовая огнём расплескалась по корчме, но никто из немногочисленных посетителей и не подумал пройтись гоголем по скрипящим половицам — дай бог в присутствии старого князя-самодура спокойно

дожевать и допить, а после незаметно исчезнуть восьсяи!

Разве что сидевшая в самом дальнем углу женщина средних лет, непривычно смуглая и длинноносая для здешних мест, сперва забарабанила пальцами по столу и весело притопнула — но огляделась и вновь принялась за баранье жаркое, дымящееся в пузатом горшочке.

У ног женщины, ткнувшись носом в её поношенные, но ещё крепкие сапожки, лежал здоровенный пегий пёс. Правое ухо у пса было оторвано в какой-то давней драке, и теперь вместо него нервно подрагивал смешной волосатый обрубок; зато второе, невредимое ухо независимо торчало вверх, словно собаке хотелось уловить в рокоте струн что-то своё, очень важное и неслышимое для посторонних.

Янош Лентовский пододвинул отцу миску с жареными в масле пирожками и скучающе огляделся.

Взгляд княжича скользнул по двум заезжим торговцам, вполголоса обсуждающим дела купеческие, мимолётно задержался на услужливо скалящемся в никуда слепце-скрипаче, огладил широкий аппетитный зад нагнувшейся за упавшим рушником служанки и наконец упёрся в смуглую женщину.

Она подняла глаза на молодого Лентовского и улыбнулась княжичу спокойной приветливой улыбкой.

— Цыганка? — негромко спросил княжич Янош, обращаясь скорее к самому себе.

Как ни странно, женщина расслышала его вопрос и отрицательно покачала головой.

— Тогда кто?

Женщина развела руками и ещё раз улыбнулась, словно это должно было объяснить её происхождение.

Княжич Янош продолжал разглядывать странную гостью. И одета она была не так, как одевались местные бабы: вместо обилия юбок, напяленных друг на

друга подобно капустным листьям, и белой расшитой рубашки с безрукавкой, на женщине был мужской чёрный казакин, подбитый стриженым мехом, из-под которого выглядывала опять же чёрная рубаха, заправленная в короткие кожаные штаны до колен. И никаких украшений, кроме витого браслета на правом запястье и медной запонки с тремя короткими цепочками, закалывавшей рубаху у ворота.

«Нет, не цыганка, — уверился молодой Лентовский. — Те по пуду всяких цацок на себя вешают, а эта... Да и не станет Иошка цыганок у себя прикармливать. Ишь, чёрная! Откуда и взялась такая?»

Интерес к женщине так же быстро угас, как и возник, после чего княжич зевнул и потянулся к кувшину с вином.

Сейчас отец насытится, и можно будет спокойно тронуться в путь.

В путь...

Лёгкие сухие пальцы коснулись шеи Яноша. Он недоумённо обернулся — чёрная женщина стояла совсем рядом, словно в мгновение ока переместившись из-за своего стола к месту княжеской трапезы. Тонкие губы шевельнулись, и женщина произнесла извиняющимся тоном:

— Великодушно прошу простить, ваша милость! Остутилась...

— Пошла вон, — равнодушно отозвался молодой Лентовский, наливая вино в деревянную кружку, и вдруг почувствовал, как у него зачесались глаза. Именно глаза, как если бы от затылка... нет, от шеи, где коснулись Яноша чужие пальцы, протянулись вглубь тоненькие нити-паутинки, быстрая суетливая плесень, кончиками невидимых волокон войдя изнутри в зрачки, копошась, натягиваясь, разрастаясь...

Княжич изумлённо моргнул — и ощущение исчезло.

Подобно руке опытного карманника, в последний момент исчезающей из вскрытого кошеля, когда разиня-хозяин заподозрит неладное и, округлив рот, уже готов закричать на весь базар: «Держи вора!»

О сапог Яноша умильно тёрлась корчменная кошка Бырка, выпрашивая кусочек свининки и опасливо поглядывая на дремавшего одноухого пса.

— Ой под горкой, под кустом портит девок чёрт хвостом, — заорал на всю корчму старый князь, и скрипач на ходу попытался подхватить мелодию. — Будет чёрту лихо, ой...

Забыв слова разухабистой песни, которую слышал от егерей на прошлой охоте, Лентовский выругался и запустил в скрипача обглоданной костью.

Чёрная женщина уже отходила от княжеского стола, когда лицо её внезапно напряглось, во взгляде, обращённом к старому князю, вспыхнула шальная безумная ненависть, зарницей метнувшись под густыми бровями — но женщина резко присела, вороватым движением погладив мяукнувшую Бырку, и лицо её почти сразу стало прежним.

Ещё миг — и ни её, ни пегой собаки уже не было в корчме.

Иошка, увидев рядом с миской недоеденного жаркого серебряный полуталер, решил шума не поднимать и уж тем более не гнаться за гостьюей; а чуть погодя ему стало не до талеров и женщин, потому что безобиднейшая кошка Бырка разъярённо зашипела, вспрыгнула на столешницу и оттуда воющим комком кинулась прямо в лицо старому князю.

И долго потом рассказывали пастухи Бескид друг другу, как старый князь Лентовский стал одноглазым, как княжич Янош в бешенстве чуть было не зарубил насмерть корчмаря Иошку, и лишь проворство ног спасло последнего, как горела корчма, подожжённая гайдуками Лентовского, а старый князь, прижимая к

разодранной глазнице окровавленный плат, рычал сорванным голосом:

— Жгите! Всё жгите, сукины дети!.. о, пся крев...
О женщине и её собаке не вспомнил никто.

— Не могла я иначе, Джош... никак не могла. Ты ведь и сам вор, ты должен меня понимать...

Ночь застала женщину с собакой в пути, но одноухий пёс мигом свернул с торной дороги и неспешно затрусили в лес — а женщина спокойно пошла вслед за ним, всё дальше углубляясь в густеющий кустарник и петляя меж редких белых стволов берёз. Так слепой идёт за надёжным, не раз проверенным поводырём, так ходят за матерью или за любовником, так ходят не раздумывая и не сомневаясь.

И действительно: не успело ещё окончательно стемнеть, как они вышли к пастушьему шалашу — добротному, плотно застеленному свежими ветками, с выгоревшим кострищем посередине, над которым на длинной палке, привешенной к двум поперечным жердям, висел закопчённый котёл. Женщина занялась костром, едкий дым вскоре заполнил внутренность шалаша, явно собираясь прокоптить незваных постояльцев до конца их дней, а пёс исчез в лесу, и только изредка светились поблизости его настороженные глаза.

За всё это время он не издал ни звука, словно был немым.

Да и женщина молчала с того момента, как они покинули злосчастную корчму Иошки Мозеля. Молча шла она по дороге, молча плутала меж стволами, молча разжигала костёр и разбиралась со скучными припасами, вынутыми из холщовой дорожной сумки с нашитыми поверх полосами дублённой кожи. Пастуший шалаш, привыкший к шумным, говорливым людям, горланящим песни и далеко за полночь пугающим друг

друга страшными сказками, удивлённо внимал тишине — и когда лёгкий ночной дождь, шурша и притоптывая, прошёлся по лесу, спугнув тишину, то шалашу стало спокойнее от этих уютно шепчущих звуков.

Листва дрогнула, отдаваясь зябкой ласке капель, глубоко в земле грибница начала свершать тёмное таинство рождения гриба, переполошенно зацокала одинокая белка в кроне векового бука, и догорающий костёр внутри шалаша слабо высветил две прильнувшие друг к другу тени: человечью и нечеловечью.

— Не могла я иначе, Джош... никак не могла. Ты ведь и сам вор, ты должен меня понимать... Откуда мне было знать, что молодой княжич против отца родного неладное замышляет? Ты, Джош, тоже не всегда знал, что тащишь — а тащил, небось!

Это и были первые слова женщины.

Пёс заворочался, хрипло клокоча горлом.

— Хватка теряется, Джош, — усмехнулась женщина, теснее прижимаясь к крупному лохматому телу, и было в её движении что-то непристойное, не похожее на простое желание добыть побольше тепла. — Помнишь, ты мне говорил: пальцы карманника нежнее соболиного меха! Помнишь, небось... Неделю, говорил, не погладишь чужие кошели — на восьмой день и камень с земли не подберёшь, выронишь! А моя хватка иная, да только и пробовать её чаще приходится. Строг был Самуил-баца, отец мой приёмный, тяжко учил, всех выучил; одна я, дура, на рожон из-за тебя попёрлась... спи, Джош, это я так, поскулить перед сном захотелось...

Женщина боялась признаться псу, что ей страшно спать. Перед закрытыми глазами всё время вставало суровое лицо отца, Самуила-турка из Шафляр, которого шафлярцы прозвали Самуилом-бацой, что на подгальском наречии значило «Старший пастух» или

попросту «Пастырь». Призрачный лик хмурился, сдвигая косматые брови, в выпуклых жабьих глазах турка блестел гневный огонь, и почему-то из-за плеча отцовского выглядывало, издевательски покачиваясь, рыжее петушиное перо.

Женщина уже видела однажды залихватски заломленный берет, на котором серебряной пряжкой было заколото точно такое же перо.

Если бы она могла молиться, то молилась бы, чтоб ей не довелось увидеть его во второй раз.

«Прости, батька Самуил, — губы женщины беззвучно шевелились, заставляя одноухого пса вздрагивать и на миг выныривать из чуткой собачьей дрёмы, — прости ослушницу... Ведь знала же, помнила, в душе тавром выжгла слова твои: «Не воруйте, дети, у дьявола, ибо дьявол берёт по праву обмана, но всё же по праву; а мы просто берём! Опасайтесь многих, но не бойтесь никого — кроме Великого Здрайцы!»^[3] Вот и вышло так, Самуил-баца, что твоя глупая дочь Марта, бывшая гроза шафлярских мальчишек, бежит теперь испуганной косулей от охотника, и нет ей убежища на всём белом свете! Ах, Джош, Джош-Молчальник, что ж ты сделал со мной!.. что я сама с собой сделала...»

Когда женщина, зовущая себя Мартой, всё же заснула, то приснился ей день, когда она впервые поняла недозрелым детским умишком, что родилась воровкой.

В тот день она чуть было не украла у приёмного отца удовольствие от послеобеденной трубки.

А Самуил-баца поймал её, что говорится, за руку, и потом долго смеялся, раздувая ноздри орлиного носа и топорща жёсткие седые усы.

Дождь бродил вокруг шалаша, и Марта теснее прижималась к тёплому боку пса, вздрагивающего во сне.

Джошу снился ночной лес, гроза и человек, повешенный на собственном поясе, привязанном к потолочной балке заброшенной сторожки.

Джошу снился он сам.

Без малого полвека минуло с той памятной весны, когда стаяли снега, и со стороны весело зазеленевшей Магурской Громады явился в Шафляры незнакомый турок. Впрочем, турком прозвали его сами шафлярцы за длинную, диковинно выгнутую трубку, которая вечно дынилась у незнакомца в зубах, да ещё за внимательные смоляные глаза навыкате. Тёмной же мастью и птичьим носом здесь трудно было кого-нибудь удивить — добрая половина бескидских мужиков была чернявой и клювастой. Поселился гость в хате столетнего дедушки Кшися, и все три с половиной года, что остались старику до прихода костлявой, не мог нарадоваться одинокий Кшись на своего постояльца, которого перед смертью назвал сыном. Сами шафлярцы, нешибко жаловавшие чужаков, тоже на удивление быстро привыкли и к пришельцу, и к его имени Самуил, непривычно звучащему для местного слуха — работал Самуил-турок за троих, на святые образа крестился исправно, пил с умом, ругаться умел так, что самые завзятые сквернословы плотней натягивали бараньи шапки на уши и хмыкали в курчавые бороды, девок без нужды не портил, а мужние бабы частенько бегали в лес за ушедшим на охоту Самуилом в отсутствие законных муженьков, выгнавших стада к Озёрам.

Но детей от турка не рождалось, а на горячем он не попадался.

Так что все были довольны, потому как по эту сторону Татр любили иметь в доме хозяйку, которая нравится другим — раз со мной живёт, значит, и я не из пустобрёхов.

Опять же последнюю неделю перед смертью дедушки Кшися, во времена его молодости не раз и не два выбиравшегося бацой — старшим пастухом, чьё слово для прочих главней отцовского, — Самуил-турок безвылазно сидел в хате, поил старика травяными отварами и держал за иссохшую руку, забывая поесть и урывая клочки сна, когда старика чуточку отпускало. А после похорон впервые отправился с шафлярскими пастухами в Косцелец — и те, кто помнил тот давний выпас, говаривали, что словно дедушка Кшись встал из гроба и каркающим голосом Самуила-турка отдавал приказы: дойных овец и коз отправить на Крулеву гору, баранов с козлами и ярок с ягнятами — здесь оставить, коров к Озёрам, волов согнать в редкий лес над речкой...

Так и стал с того дня из Самуила-турка Самуил-баца.

А к неизменной трубке добавилась в руках Самуила пастушья чупага — малый топорик на длинном древке, с медными колечками на конце топорища. Всякий уважающий себя подгальский пастух умел в танце прыгать через свою чупагу, ухватившись руками за лезвие и за топорище, а когда поднимался пастуший топорик не для забавы, а для мужской кровавой потехи, то частенько приходилось после сколачивать домовины для неудачников.

Тут поначалу косились на Самуила односельчане — что-что, а прыгать козлом новый баца был не горазд. Как-то раз явился в Шафляры Мардула-разбойник, знатный овцекрад, о котором говаривали, что ему человеку шею свернуть — как иному высморкаться. Явился и давай шутки шутить: дескать, в старом стаде новый вожак, холощёный валух шафлярских баранов водит! Слово за слово, встали друг перед другом Самуил с Мардулой-разбойничком на зелёном лугу, заметался неистовый Мардула вокруг хмурого турка, как грозовой вихрь вокруг старого утёса, плеснула

медным звоном Мардулина чупага... пляшет Мардула, а в руках у Самуила-бацы уже две чупаги: и своя, и разбойничья. Что сделал, когда успел, как утёс у вихря молнию из пальцев выкрад — не увидели того шафлярцы. Схватился Мардула за нож, рванул из-за пояса и замер на месте, ровно забыл, что с ножом делать собирался.

— Ты чего мою чупагу держишь? — спрашивает у турка.

Незлобно спрашивает, скорей удивлённо.

— А ты мне её подарил, — отзыается Самуил-баца. — Только что. Как побратиму. Прими взамен мою и поклонимся друг другу в пояс.

Когда шафлярцы позже рассказывали эту небывальщину соседям, то в конце всегда добавляли: хотите верьте, хотите нет, только тем дело и кончилось.

Так и жил Самуил-баца в Шафлярах. На четвёртый год женился, взял за себя немую Баганту, овдовевшую ещё до его прихода в село, и жил с безъязыкой душа в душу. А детей не имел. Не хотел или не мог — но на вторую зиму после свадьбы исчез из Шафляр до середины весны и по возвращении привёл с собой мальчионку. Подобрал где-то. Баганта приняла хлопца как сына родного, Самуил-баца имя приёмышу дал — назвали Яном, а пока маленький был, Яносиком звался. С той поры и пошло: раз в три-четыре зимы исчезал Самуил из Шафляр, скитался где-то до полугода и возвращался с приёмышем. Когда с мальцом, когда с девкой. И все как один: лядащенъкие, чернявые да востроносенькие. Галчата и галчата, словно родные дети турка — а когда охотник Собек бросил как-то со зла: «Вороньё!», так назавтра забыл имя родной матери.

Взаправду забыл, на трезвую голову. Ему уж кто только не говорил: «Мамашу твою Кристой зовут!», а он

кивнёт, полдня проходит, шепча под нос: «Криста... Криста, мамонька...», и к вечеру снова ко всем цепляется: «Люди добрые, как вы маму мою кличете?!»

У самой матери спрашивать стеснялся.

Росли приёмные дети Самуила-бацы и немой Баганты, вырастали, стукнул старшему Яну девятнадцатый годок — и ушёл Ян из родного дома. Ушёл себе и ушёл, мало ли с какой стати человеку жизнь в Шафлярах немилой показалась! Ах нет, не так-то просто: следом за Яном спустя три года покинула село и сестра Янова, красавица Тереза. Много парней сохло по статной Терезе, только не выбрала она из них ни единого, жила себе ни богу свечка ни чёрту кочерга; такой и ушла восвояси. Вот и повелось с тех пор: спровоцирует очередной Самуилов приёмыш дважды девятый день рождения — откуда только знал Самуил-баца, когда родились его найдёныши?! — и вскоре расстаётся с отцовским домом.

Куда уходили, где оседали — не знал никто.

Разве что, может, кроме старого Самуила. Да этот разве скажет?! — проще немую Баганту разговорить...

И если бы сказал кто шафлярцам, что уважаемый всеми Самуил-баца тайно учит своих приёмных детей воровскому ремеслу, поскольку сам природный вор, и даже не такой вор, каких мало, а такой, каких и вовсё-то нет на свете — ох, и намяли бы пастухи болтунушезнайке бока!

А зря.

Дорога на Тынец испокон веку считалась оживлённой. Скрипели повозки, запряжённые меланхолично моргающими волами, время от времени пролетал, покрикивая, спешащий верховой, богомольцы серыми стайками брели в тынецкий монастырь, пользующийся славой святого места; по обочине местные пастухи гнали на продажу блеющих овец, и

бродячие монахи блудливо цеплялись к бабам, отправившимся с утра на рынок.

Марта ехала на телеге, почти целиком заставленной дерюжными мешками с мукой. Мучная пыль пудрой оседала на тёмных волосах женщины, набивалась в рот и в нос, затрудняла дыхание, но всё же это было лучше, чем тащиться пешком. Одноухий Джош развалистой рысцой бежал рядом, вывалив розовый язык, и искоса поглядывал на правившего волами мельника — тихого крохотного стариичка с благостным выражением на выцветшем от возраста лице, отчего мельник напоминал затёртые статуи святых, каких много понаставлено заботами окрестных резчиков в церквях Ополья и Тенчина.

С другой стороны телеги шагал сын мельника — низкорослый крепыш с плечами шириной в стол. При виде его медвежьей стати сразу приходило в голову, что мельничиха в молодости согрешила с кем-то из ядрёных здоровяков-гуралей,^[4] любивших в свободное от разбоя время молоть муку на чужих жерновах.

Изредка сын мельника отставал и, делая вид, что попросту глядит по сторонам, по-звериному быстро косился на собаку Марты, зажигая в глазах неприятные зелёные огоньки. Сама Марта один раз заметила это, но не придала значения: мало ли что, может, парня в детстве сельские кобели рвали, вот и не любит собак!

Пегая морда Джоша излучала полнейшее равнодушие ко всему на свете.

— До самого Тынца с нами поедешь, дочка? — добродушно спросил мельник, погладив ладошкой вспотевшую на солнце плешь. — Ты думай, а то я ещё волов у Жабьей Струги поить стану... что ж тебе зря ждать возле колодца-то!

— А где этот колодец? — поинтересовалась Марта.

— Да тут рядышком, за сгоревшим явром, где поворот к монастырю... как подъезжать станем, услышишь: лягухи там стрекочут, что твои соловьи!

— Нет, дедушка, тогда я вас ждать не стану. Мне-то как раз в монастырь и надо, к аббату Ивоничу.

— К Яну Ивоничу? Божий человек, таких на нашей земле по пальцам перечесть можно... бедных оделяет, к монастырским крестьянам милостив, исповедует чище святого Павла, чужого гроша в жизни не взял...

Марта невольно улыбнулась, как если бы мельник сказал что-то очень смешное, и стариk недовольно заворочался, заметив краем глаза эту улыбку.

— Святой человек ксёндз^[5] Ян, — ещё раз повторил он с нажимом. — Глядишь, вскорости епископом станет. Люди и так уже судачат: настоятель тынецкого монастыря — и не епископ. Не поладил с кем в Риме, что ли? А ты знакома с ним, дочка, или как?

— Немного, — Марта обеими руками взбила свои пышные волосы, и белёсое облачко мучной пыли заклубилось над женщиной.

Мельник прицокнул языком — не то волов подгонял, не то удивлялся, что его случайная попутчица знакома с таким угодным Господу человеком, как Ян Ивонич, настоятель тынецкого монастыря бенедиктинцев.

Подъезжая к Жабьей Струге, издалека кивавшей им колодезным журавлём, Марта даже не услышала, а скорей почуяла хриплое ворчание Джоша. Не успев ничего сообразить, она метнулась с телеги на землю и мёртвой хваткой вцепилась в густую шерсть пса за мгновение до того, как одноухий чуть было не помчался вперёд, к колодцу.

— Что с тобой, Джош?! — Марта понимала, что долго ей собаку не удержать, да и вообще Джош-Молчальник был не из тех, кого может удержать женщина.

За что в своё время и поплатился.

Пёс упрямо тянул её к колодцу.

Продолжая одной рукой придерживать собаку, Марта дошла до поворота и увидела Жабью Стругу.

Неподалёку от бревенчатого сруба, ограждавшего колодец, к раскидистой яблоне прижался спиной молодой цыган, скорее цыганёнок, выставив перед собой кривой нож.

— Не подходи! — подстреленной рысью шипел парнишка, яростно сверкая глазами, и ярко-алая рубаха его пламенела на ветру. — Клянусь мамой, зарежу! Не подходи!..

Вокруг толстой ветви яблони был плотно обмотан кожаный повод коня — красавца гнедого, засёдланного на удивление старым и поношенным деревянным седлом, на какое не сядет ни один уважающий себя всадник, а тем более природный цыган.

Конь нервничал, мотал головой и фыркал.

Цыгана лениво, с неторопливым спокойствием людей, умеющих убивать, окружало пятеро мужиков. Двое держали короткие, с толстым обухом топоры, более удобные для работы, чем лёгкие пастушки чупаги; третий доставал из ножен свой нож, в отличие от цыганского широкий и прямой, а четвёртый тряпицей наскоро перевязывал пятому рассечённую руку. Видимо, цыганёнок уже успел расстараться. По лицам мужиков ясно было видно, что жить мальчишке остаётся считанные минуты. Просто никому не хотелось лезть первым и зря кровавиться.

Джош рычал, скалясь страшной пастью, и тянул Марту вперёд.

— Это цыган, — успокаивающе бросила женщина псу. — Конокрад. Ты же никогда не связывался с конокрадами, Молчальник! Да что ты, в самом деле, ведь посекут топорами — и его, и нас с тобою!

Пёс не слышал.

— Не возьму я их, Джош, — чуть не плакала Марта, из последних сил держа пса. — Сам знаешь, надорвалась я с тобой, много не вынесу... и устала с дороги. С княжичем — это ведь так, забава одна была, как тебе у деревенского дурня яблоко с воза снять... да стой ты! Чёрт с тобой, Джош...

На последних словах Марта поспешило захлопнуть рот, наскоро огляделась по сторонам и, отпустив собаку, пошла к мужикам и конокраду.

Джош беззвучно ступал следом.

— За что парня губите, люди добрые? — спросила Марта, подойдя к раненому.

— Коня свёл, падлюка! — ответил тот властным голосом, по которому сразу можно было признать сельского войта. — Я-то думал — всё, сгинул жеребец, уведут в Силезию или за Дунай, и пиши пропало... не успели увести, племя египетское!

— Не подходи! — безнадёжно вскрикнул цыганёнок. — Ай, не подходи, жизни лишу!

Марта протянула руку и легко коснулась предплечья раненого, чуть выше наспех замотанного тряпицей пореза. Человек встрепенулся, хотя порез был пустяковый, и даже задень его Марта, боли особой не причинил бы, потом часто-часто заморгал, словно ему в глаз попала соринка, помотал кудлатой головой и недоумевающе уставился на своих спутников.

— Эй, мужики! — крикнул он. — Погодьте! А за что мы цыгана этого рубить собирались?!

Ближайший обладатель топора — коренастый угрюмый бородач — повернулся и выразительно постучал себя обухом по лбу. Правда, лоб у него даже на первый взгляд был такой, что можно было стукнуть и посильнее — если топора не жалко.

— Сдурел, Саблик?! Он же коня у тебя свёл!

— Коня?!

— Ну да! Твоего гнедого! Да ты что, ослеп — вот же твой жеребец стоит!

— Это не мой жеребец! — с уверенностью заявил раненый Саблик.

— Не твой?

— Не мой. Сроду у меня гнедых не водилось.

— Так ты ж сам заорал, как мы к Струге подъехали: держите, братья, конокрада чёртова, вражью силу! Я и приметил — вроде бы знакомый гнедой под цыганом гарцует! Ещё обрадовался — спешился кучерявый, коня поить стал, а то ушёл бы верхами!..

— Не мой конь, — Саблик отвернулся и стал перевязывать пострадавшую руку заново, ловко помогая здоровой руке зубами. — Сроду не водилось у меня гнедых. Не люблю.

— Тогда за что мы цыгана рубим?!

— Не знаю. Может, он в твоё ведро плюнул.

Бородач сунул топор за пояс и вразвалочку подошёл к Саблику. Постоял, глядя на того с явным желанием дать раненому по уху, после звучно высморкался Саблику под ноги и двинулся к колодцу.

Остальные, пожимая плечами, потянулись за ним.

Марта проводила их усталым взглядом и направилась к цыганёнку.

— Не подходи, — цыганёнок сунул ей в лицо нож, чуть не порезав губу, и теснее прижался спиной к яблоне. — Убью!

Марта не ответила.

— Не подходи! — ещё раз взвизгнул парнишка и заплакал, садясь на землю.

Джош облизал цыганёнку мокрые щёки и лёг рядом, покусывая стебельки травы.

— Мотал бы ты отсюда, — Марта отёрла пот со лба и поняла, что испугалась — дико, смертно испугалась, просто раньше не успела это заметить, а и заметила, так не пустила в сердце.

Кинулся бы Джош-сумасброд на мужиков, лёг бы под топорами за дурость свою неуёмную...

— Друц, — забормотал цыганёнок, уставясь в землю. — Зовут меня Друц!.. я для тебя, госпожа, я за тебя... наш табор в Силезию третьего дня ушёл, там ярмарка знатная, а я не успел!.. задержался я тут... хочешь, госпожа, вынь мою душу, топчи её, дави каблуками — благодарить стану, в ножки поклонюсь! Хочешь?!

Золотая серьга в его левом ухе качалась, играя солнечными зайчиками.

— Дурак ты, Друц-конокрад, — устало отозвалась Марта, вздрогнув при словах Друца о душе. — Прыгайка лучше в седло и гони к своим в Силезию. Опомняться мужики — ни я, ни Господь Бог тебя с их топоров не снимут. Понял? А гнедого твоего Бовуrom звать — так и запомни, потому что на другое имя он не откликнется. И не надо на меня глазеть, рот разинув, я тебе не икона Божьей Матери... ну, скачи!

...Старичок-мельник, так и не выпрягший волов из своей телеги, от края дороги наблюдал за происходящим. Когда пыль взвилась за цыганом Друцем, прилипшим к спине краденого жеребца, мельник покачал головой и задумчиво оттопырил нижнюю губу.

— А не та ли это баба, о которой давеча ночью нам Петушиное Перо сказывал? — спросил он у самого себя.

И сам себе ответил:

— Может, и та. А спешить всё равно не надо...

— Какая баба? — поинтересовался его могучий сын, исподлобья поглядывая на припавшего к ведру одноухого пса.

— А та, что у чёрта купленную душу из-под носа увела. Как цыган коня из чужой конюшни.

Мельник ещё раз покачал головой, улыбнулся тихой бесхитростной улыбочкой и повторил:

— А спешить всё равно не надо...

Стены тынецкого монастыря, сложенные из тщательно пригнанных друг к другу глыб тёсаного камня, выросли перед Мартой и Джошем как из-под земли. Вот ещё только что был лес, тропинка петляла меж задумчивыми сумрачными вязами и древними дубами, не позволявшими видеть ничего дальше ближайших стволов — и вдруг лес как-то сразу кончился, словно обрезанный гигантским ножом, а над головами уже нависают отвесные монастырские стены, больше смахивающие на крепостные. Тынецкий монастырь в смутные времена и впрямь частенько служил крепостью, причём стены, на которые сейчас с искренним благоговением смотрели Марта и Джош, ни разу не были взяты неприятелем. То ли Господь хранил святых отцов и укрывшихся у них мирян, то ли закованный в камень оплот веры просто оказался не по зубам нападающим. Впрочем, одно другому не помеха, и даже наоборот...

Вблизи, когда путники оказались перед массивными, окованными железом воротами монастыря, ощущение давящей на плечи огромной массы сурового камня только усилилось. И, стараясь развеять это гнетущее впечатление, усугубляемое царившей вокруг тишиной, Марта решительно и громко трижды ударила в ворота привешенным снаружи чугунным кольцом.

Некоторое время ничего не происходило. Потом по ту сторону ворот послышались неспешно приближающиеся шаги, и в левой створке со скрипом отворилось небольшое окошечко. Спустя мгновение в нём возникла остроносая физиономия монаха-привратника, сверлившего Марту подозрительным взглядом.

— Кто такая? — неприветливо осведомился монах. — Зачем явилась?

— Марта Ивонич я, сестра настоятеля вашего, — скромно потупила глаза Марта. — Совета пришла спросить у святого отца, брата моего в миру.

— Сестра? — в скрипучем голосе монаха звучало подозрение, готовое перейти в уверенность. — Что-то не припомню я, чтоб у аббата Яна сёстры водились!

— А ты у него самого спроси, отче, — кротко улыбнулась Марта, проводя ладонью по гладкому дереву ворот и как бы случайно задев при этом торчавший из окошка длинный монашеский нос.

Привратник отшатнулся, хотел было выругаться, но вдруг застыл на месте, словно пытаясь что-то вспомнить. Так и не вспомнив, обречённо махнул рукой и начал вытаскивать из петель тяжёлый засов.

— Входи, сестра, — виновато пробормотал он, впуская Марту и юркнувшего следом одноухого пса. — Для тех, кто просит у нас совета и утешения, двери наши всегда открыты. Сейчас схожу, доложу отцу настоятелю...

Являвшихся к нему мирян настоятель тынецкого монастыря ксёндз Ян Ивонич предпочитал принимать не в исповедальне и не в аббатских покоях, а в узкой келье, где кроме жёсткой лежанки, грубой деревянной скамьи и низкого стола из некрашеных дубовых досок, ничего не было.

За исключением распятия на стене, разумеется.

Здесь отец Ян молился в одиночестве, здесь же выслушивал исповеди родовитых шляхтичей и шляхтянок, претендующих на особое внимание аббата, отпускал грехи, давал советы, после которых многие уходили с облегчённым сердцем, а кое-кто и вскоре принимал постриг. Знали бы эти люди, что на самом деле происходило в то неуловимое мгновение, когда

бремя грехов спадало с их души, или когда важное решение, ещё минуту назад рождавшее бурю сомнений, вдруг оказывалось простым и единственно возможным! Но люди покидали монастырь, аббат оставался, и всё шло своим чередом.

Отца Яна многие считали святым. И хотя прижизненная канонизация ему не грозила — даже святой Станислав Костка сподобился приобщения к лику лишь после того, как отдал Богу душу — тем не менее тынецкие отцы-бенедиктинцы и священнослужители соседних монастырей были твёрдо уверены, что уж епископский-то сан не минует ксёндза Ивонича, причём в самое ближайшее время.

И только сам отец Ян, Яночик Ивонич, старший из приёмных детей Самуила-бацы, знал истинную цену своей святости.

Кроткий аббат был вором.

Сонмы греховных мыслей и вожделений, сомнений и страхов, украденных из голов исповедующихся и просящих совета мирян, терзали его. Люди уходили просветлёнными и очистившимися, чувствуя в себе Благодать Божью, люди называли отца Яна святым — а он оставался один на один с их гордыней, любострастием и чревоугодием, всё чаще не выдерживая, срываюсь и долго потом замаливая собственные — а по сути чужие — прегрешения... Когда молодой Яночик становился послушником, а затем принимал постриг и давал обеты, он и представить не мог, с чем ему придётся столкнуться в стенах монастыря, этой обители веры и благочестия! Да будь он действительно святым — никогда бы не достичь Яну Ивоничу не то что епископского сана, но и должности настоятеля, в которой он сейчас пребывал. Свято место пусто не бывает, желающих на него предостаточно. И плетутся в стенах монастырей интриги не хуже, чем в королевских дворцах и княжеских замках; редко, очень